

# Калевала

*карело-финский эпос в пересказе*

ПАВЛА КРУСАНОВА



**ЛИМБУС ПРЕСС**  
Санкт-Петербург

## КРУСАНОВ И «КАЛЕВАЛА»

О серьезном лучше начинать несерьезно и потихонечку подводить к серьезному, иначе у неподготовленного читателя зевота отобьет всякий интерес к теме. Это мое личное мнение, и если кто-то захочет его оспорить – пусть, возражать не стану. У всякого свои способы завоевать читательское внимание. Один работает, надев на голову шутовской колпак, другой – в застегнутой на все пуговицы строгой академической паре.

Обращение серьезного писателя Павла Крусанова к великому наследию моих предков (с отцовской стороны ваш покорный слуга принадлежит к финно-угорскому племени вепсов) вызывает у меня лично чистый низкопоклоннический восторг и здоровую человеческую зависть.

Первое, восторг, – потому, что писателю удалось не поломать высокий язык поэзии при переводе его на низменную платформу прозы. Второе, зависть, – потому,

что, как говорил один ушедший петербургский поэт, «это должен был написать я».

Идти к истокам всегда труднее, чем плыть к устью, следуя по течению. Крусанов идет к истокам. Идет всегда – возьмите его романы, в них читатель то и дело ухает с головой вниз, в мыслящий океан, в Солярис, прячущийся под обманкой сюжета.

Сильных это вызывает на спор, заставляет трудиться мыслью, слабых – раздражает и отчуждает.

Вот хороший, кстати, прием для вычленения из поголовья читателей двух пород – сильные и не очень: выдать каждой особи на прочтение роман Крусанова и наблюдать ее читательскую реакцию.

Это было предисловие к предисловию, нечто вроде. Перехожу теперь к предисловию, надеюсь, оно выйдет не длинным.

Одним из первоначальных начал в космогонии карело-финских народов является пиво. Наряду с огнем, железом, кантеле и медведем пиво составляет основу жизни, и в «Калевале» в «Книге первоначальных начал» отдельная глава посвящена его появлению. Глава эта так и называется – «Рождение пива». В ней подробно описывается процесс варки, концовка же у главы следующая:

Так вот уродилось пиво,  
Калевы хмельной напиток,

там и имя получило,  
добрую с почетом славу,  
чтоб оно хорошим было,  
вкусным, крепким и душистым,  
всех бы женщин потешало  
и мужчин вело к веселью,  
радовало добродушных,  
а глупцов кидало б в драку\*.

Собрал и записал «Калевалу» финский врач и языковед Элиас Лённрот в 20–40-е годы XIX века. Окончательный текст памятника был издан в 1849 году и составил в общей сложности пятьдесят рун.

«Родиной этих поэм, – писал Лённрот в предисловии к книге, – является Карелия по обе стороны государственной границы Финляндии и России». Таким образом, район Калевалы – это карельское Беломорье, Олонец и прилегающие к ним карельские и финские территории.

Поэтому в предыдущем издании пересказанной Крусановым «Калевалы» (Астрель-СПб, АСТ, 2005) странно было видеть вынесенный на обложку подзаголовок: «Финский народный эпос» (вместо «Карело-финский»). Вины Крусанова в этом нет, у него как раз все было правильно. Это кто-то из специалистов «Астрели» оказался то ли карелофоб, то ли просто повелся на поводу своеобразной книгопродавческой глупости. Мол, нынешний книжный рынок сориентирован на литературу Запада, и карелы на

---

\* Перевод А. Титова.

нем не катят, как не катят мордва и вепсы, татары, нгансаны и чукчи. Финляндия же какая-никакая, а за граница.

По мнению академика О. Куусинена, «Калевала» – единственный из северных эпосов, рожденных в народной гуще. Все остальные эпосы, будь то «Песнь о Нибелунгах» или скандинавская «Эдда», «составлены певцами-профессионалами, воспевавшими легендарных героев на пиршествах князьков».

И пили эти «князьки» не пиво, подлинно народный напиток, пили они вино, классический напиток аристократии.

Оставим на совести академика такое опрометчивое высказывание и, чтобы не понижать градус, давайте-ка перейдем с пива на что-нибудь покрепче, чем оно.

На волю к творчеству, например. На пределы посягательств творца на творение, созданное не им.

Всякий переводчик и обработчик, будь то Гнедич, подаривший нам «Илиаду», будь то самый низкопробный толмач, какой-нибудь занюханный Рукавицын, переводящий с обезьяньего на паучий, волею своего таланта/своей бездарности меньше/больше, но всегда искажает первоисточник. Это, к сожалению, аксиома. Или – к счастью, у кого как. Мы читаем не Гомера, а Гнедича. Мы читаем не Воннегута и Сэлинджера, мы читаем Риту Райт-Ковалеву. В этом нет ничего обидного. Обидно наше невладение языками, произрастающее из нашей лени. Единственное, что их оправдывает, эти наши лень и невладение, – совершённое по умыслу Божьему великое

рассеяние народов после известных вавилонских событий («Сойдемъ же и смѣшаемъ языкъ ихъ, такъ чтобъ одинъ не понималъ рѣчи другого. И разсѣялъ ихъ Господь оттуда по всей землѣ; и они перестали строить городъ (и башню)»). Короче, Бог виноват. Или – если вы атеист – Пушкин.

Все, изложенное в предыдущем абзаце, в полной мере применимо и к «Калевале».

Но сперва – еще немного о воле к творчеству.

Что есть воля? Это способность человека сознательно управлять своими чувствами и поступками.

Что есть творчество? Смотрю словарную статью и читаю:

«Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства), – уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придает продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства».

Вот теперь, определившись с понятиями, переходим непосредственно к «Калевале», а конкретно к ее прозаическому изводу, сделанному Павлом Крусановым.

– Ну что, Ильмаринен, великий кузнец? Если сумеешь ты сделать Сампо из лебяжьего пуха, молока нетели, овечьей шерсти и ячменного зерна, то получишь в награду за работу мою красавицу дочь.

То же место из «Калевалы» в переложении поэтическом (перевод А. Титова):

Ой, кузнец мой, Илмаринен,  
ты кователь вековечный!  
Коль сковать сумеешь Сампо,  
крышку пеструю сработать  
из конца пера лебедки,  
молока нетельной тёлки,  
ячменя зерно прибавив  
и ягнячьей шерсти летней,  
дочь в награду ты получишь,  
за свои труды девицу.

Что мы видим? Опроцает ли прозаик Крусанов поэтический язык «Калевалы»? С одной стороны, да. Проза здесь концентрированнее поэзии. Но, с другой стороны, Крусанов удачно концентрирует суть, уточняя и убирая лишнее, а в случае «лебяжьего пуха» исправляя непонимание переводчика, превращая неудобочитаемое «конец пера лебедки» в воздушный лебяжий пух. Жаль, конечно, что в прозаическом пересказе потерялась летняя шерсть ягнячья, но зато тавтологическая «нетельная телка» удачно сократилась до «нетели».

Метафорический строй языка Крусанова сам рождает новые сущности, дополняя и при этом не искажая эпическую основу книги, идет процесс обогащения текста.

То есть в приведенном примере налицо (см. «Что есть творчество?») «процесс деятельности, создающий качественно новые... духовные ценности» и создание «объективно нового». Также налицо (см. «Что есть воля?») сознательное управление процессом, приводящим к желаемым результатам. Без вдохновения здесь тоже не обошлось, но вдохновение – птица легкая и прилетает неизвестно когда, без воли же творчества не бывает.

Других примеров не привожу, чтобы не утомлять читателя.

Теперь к вопросу о пределах дозволенности. Насколько сильно при переводе первоисточника автор может переиначивать его текст? Оставляя в стороне тексты авторские (там разговор особый), остановимся на памятниках фольклора.

Сам фольклор, народное творчество, не есть нечто устоявшееся в своем развитии, не последняя точка, не идеал, потому что идеал – это смерть, это та заоблачная «омега», которой не бывает в природе. И «Калевала», собранная Лённротом (и дополненная его собственными стихами), и «Калевипоэг», эстонский эпос, собранный (и дописанный) Крейцвальдом, на самом деле сплав народного и писательского, коллективного и личного, и это нормально.



Точно так же правомерен и опыт, проделанный Крусиновым с «Калевалой».

Что добавить еще? О пиве сказали, о лебяжьем пухе поговорили, о воле к творчеству тоже.

Теперь дело за малым – приступить к чтению «Калевалы».

*Александр Етоев*

КАЛЕВАЛА

## РОЖДЕНИЕ ВЯЙНЕМЁЙНЕНА



рода, предания предков говорят, что Вяйнемёйнен – пращур племени певцов и всех играющих на кантеле – был рожден на свет дочерью воздуха и хозяйкой вод прекрасной Ильматар.

Неисчислимыя времена одиноко жила Ильматар на пустых воздушных равнинах, и не было вокруг ничего, кроме бескрайней страны воздуха и безжизненной пучины под ней. Свод небес еще не встал над миром, солнце и месяц не воссияли на нем, птицы не летали, рыбы не населили вод, и суша не положила пределы морю – таким было начальное творение Укко, верховного бога.

Шло время, и однажды скучной и странной показалась Ильматар ее одинокая жизнь – ей захотелось иного. Спу-

стилась дева вниз, на прозрачный хребет моря и склонилась над волнами, озирая новые просторы. И тут же поднялась буря, свирепый ветер замутил пеной море, встали вокруг водяные валы – закачало Ильматар ветром, подхватило пенными волнами, и надула буря деве плод.

Семьсот лет – девять жизней человека – носила Ильматар во чреве тяжесть, а роды не наступали: не зачатый – не рождался. Семьсот лет она металась во все края безбрежной пучины, боль и жажда разрешения терзали ее, но лоно Ильматар оставалось запертым: не зачатый – не рождался. Скорбь овладела прекрасной девой, и пожалела она, что покинула легкие пажити воздушные, что презрела покой и теперь тяжела, гонима бурей, томима холодом, бита волнами на открытом просторе моря. И взмолилась слезно Ильматар, и просила Укко, держателя мира, прийти ей на помощь, избавить от страданий и муки чрева.

Едва произнесла она горькие речи, как появилась над морем чудо-утица – кружит птица без усталости, бьет воздух крыльями, ищет место для гнезда. Во все концы моря слетала утка, все края осмотрела, но не нашла нигде себе места: никак жилье на ветре не устроить, не свить на воде гнезда. Пожалела Ильматар птицу и подняла из воды колено – приняла его утка за кочку, обустроила гнездо и снесла яйца: шесть золотых, а седьмое – из железа. Села утка на гнездо наседкой греть чудесные яйца, и вскоре почувствовала Ильматар нестерпимый жар в колене – так гнездо нагрела утка, что стало колено словно в огне, а кровь в жилах – будто расплавленный металл.

Дернула от боли Ильматар ногой, и скатились яйца в воду. Разбились о буйные волны на куски, и из осколков вышла из моря земная твердь, из белка – месяц, крошкой золотой скорлупы рассыпались на небе звезды, а из скорлупы железной явились темные тучи.

И улеглась буря, и сменился мир, и время мира стало другим: отделилась тьма от света и день от ночи, воцарилось в небе юное солнце, помогал ему править молодой месяц. Довольна осталась Ильматар превращением: плавает она по дремотному морю, по туманной глади, и под ней оживают водные глубины, а над ней озаряется небо. Довольна Ильматар и рада сама обустроить творение: куда вытянет руку, там воздвигается мыс за мысом, куда ногой ступит – остаются рыбам ямы и лососьи тони, где коснется земли боком, там разглаживается берег, куда склонит голову – появляются малые бухты. Отплыла хозяйка вод от суши и в глубоком море подняла подводные скалы, где пропорют днища ладьи и моряки найдут свою погибель.

Все устроила Ильматар: воздвигла столбы ветров и все земные страны с пестрыми горами, с реками, с ручьями, с озерами, с ущельями в утесах, и только Вяйнемейнен никак не мог покинуть материнскую утробу. Еще тридцать лет провел он в тесном чреве, через пуповину впитывая тайны творения, и от раздумий в темном узилище сделался мудрее мудрого. Просил он скрытые от глаз небесные светила отворить неведомые засовы, дать ему выход из заточения, но не получил свободы ни от месяца, ни от солнца,

ни от семизвездной Медведицы – не слышали светила, высоко вознесся их престол.

Постыло и тяжело жилось Вяйнемейнену нерожденным, и решил он спастись своею силой: развернулся поудобнее и малым пальцем левой ножки открыл костяной замок, после сдвинул безымянным пальцем ворота крепости, на коленях переполз сени, на руках – порог. И упал богатырь в море, обхватив руками волны.

Долго носило его по водам из края в край, но выплыл наконец песнопевец на пустынный безлесный берег. Приподнялся он на колени, оперся о землю руками и встал во весь рост – чтобы легко было смотреть на солнце, чтобы ясно видеть месяц, чтобы говорить с острыми звездами.

Так родился Вяйнемейнен.

## НА ЗЕМЛЕ ВЫРАСТАЮТ ДЕРЕВЬЯ И ХЛЕБ



лет прожил Вяйнемейнен на берегу, отросла у него борода и побелели волосы, но по-прежнему оставалась земля Калевалы пустынна и гола, как в начальный день.

Долго думал Вяйнемейнен о наряде земли, и настало время, когда решил он, что пришел срок засеять деревьями холмы, болота и каменистые равнины. Призвал вещей певец Сампсу – мальчугана Пеллервойнена, маленького и свежего, как подснежник, – достал Сампса, нежное дитя поляны, горсть семян и посеял на горах сосны, на холмах – ели, кусты – в долинах, на полях – вереск, в логах – ольху, ракиту – на болоте, в песках – можжевельник, у широких рек – дубы. И поднялись над землей ели с пестрыми верхушками, встали красноствольные сосны, выросли в логах

береза, ольха и черемуха, вытянулся можжевельник в лиловых бусинах ягод. Посмотрел старый Вяйнемейнен, как удался у Пеллервойнена сев, и видит: проросли из семян все деревья, только никак не может взойти дуб.

Семь дней и ночей еще ждал Вяйнемейнен, но дуб не поднялся. Тогда, на исходе недели, вышли из моря пять дев: скосили на мысу росистый луг и сгребли сено в стог. Следом встал из волн страшный Турсас, высек огонь и поджег сено: охватило пламя траву, взлетела к небу туча дыма, и осыпался стог горой сухого пепла. Завернул Турсас желудь в зеленый лист, вложил в пепел и вернулся обратно в пучину. И тогда проклянулась былинка, потянулся стройный росток. В краткое время встал из золы огромный дуб с могучей кроной в сто вершин, до небес вскинул ветви: не стало прохода тучам, заслонила листва солнце и месяц.

Вновь тьма опустилась на землю, и следом за тьмою печаль и тоска окутали Калевалу. Осмотрел Вяйнемейнен злое дерево, все его сто вершин, и понял, что нет на свете богатыря, кому по силам будет свалить исполина. Тогда обратился он к дочери творения Каве, к матери своей Ильматар, и просил послать из моря, наделенного великой силой, помощь – обрушить могучий дуб, чтобы опять над миром воссияли солнце и месяц. Услышала сына Ильматар и послала из вод героя: богатыря не большого, не малого – ростом с шишку, с женскую пядь. Был тот богатырь словно из меди: шапка, сапоги и рукавицы на нем – медные, на груди блестела медная чешуя, за звонким поясом – медный топор с лезвием в ноготь.



– Что ты за силач? – сказал Вяйнемейнен с сомнением. – Сдается мне, не многим ты сильнее мертвого.

– Не суди поспешно, Вяйнемейнен, – ответил морской малютка. – Я пришел срубить дуб, и мне это по силам.

Не успел Вяйнемейнен усмехнуться в седые усы, как медный малыш на диво переменялся: ноги мощно уперлись в землю, голова держит тучи, борода ему уже по колено, волосы – до пят, а между глаз косая сажень – как есть великан.

На семи кремнях наточил богатырь топор, чтобы лезвие само древесину ело, в три шага подступил к корням гордого дуба и ударил сплеча. После первого удара посыпались из лезвия искры, после второго – полыхнуло из ствола пламя, а на третий взмах опрокинул медный великан непомерный дуб наземь. И снова засияло солнце, опять простерлись в вышине облака, вновь открылся весь небесный простор над окутанной мглой землей. Густо разрослись рощи, вольно поднялись леса, распустились листья и травы, загомонили на ветках птицы, из мха вышли ягоды и пестрые цветы – ожил осиянный край.

Положил богатырь поверженный ствол к восходу, на закат бросил верхушки, раскинул листья на полдень, ветки свалил на полночь, а сам медной шишкой скатился с мыса в воду: и кто в ту пору поднял ветку, тот навек обрел счастье, кто принес к себе верхушку – стал могучим чародеем, кто сорвал листья – нашел отраду и покой для сердца. Щепки из-под богатырского топора далеко отлетели в море и там, на открытом просторе, качались под ветром,

как челноки на волнах. Отогнал ветер щепки к Похьоле, скалистой стране мрака, где на мысу стирала белье девица. Увидела она в море щепки от злого дерева, собрала их в кошелку, перевязала ремнем и отнесла домой, чтобы ведьмак сделал из них заколдованные стрелы.

Озарилась земля Калевалы; кажется, всем она полна, но не ликует сердце Вяйнемейнена – еще не зреет на полях страны хлеб. К морю, к пределу могучих вод пошел вещей певец и увидел на берегу, на песчаной отмели, семь ячменных зерен. Спрятал Вяйнемейнен драгоценные семена в лапку желтой белки, схоронил глубоко в куньем мешочке и пошел к реке на поляну Осмо, чтобы засеять хлебом землю. Но на краю поляны остерегла его с ветки синица:

– Не взойдет у Осмо ячмень, не поднимутся хлеба Калевы – ведь не срублен еще под пашню лес, и огнем не выжжена подсека.

Тогда наточил старый Вяйнемейнен топор и свалил на поляне все деревья – оставил лишь одну высокую березу, чтобы был отдых перелетным птицам.

В то время парил высоко над поляной орел.

– Отчего ты не тронул березу? – спросил он Вяйнемейнена.

– Оттого, – ответил мудрый старец, – чтоб спускались к ней на отдых птицы.

– Хороша твоя забота, – сказал орел и высек в помощь Вяйнемейнену ударом когтя пламя.

От взмаха его крыльев поднялся ветер, и огонь обратил в золу и сизый дым порубленный лес.

Раскрыл Вяйнёмейнен на поляне пашню, потом из куньего мешка, из лапки желтой белки, достал заветные семена, бросил их в землю и запел такую руну:

– Я творящую десницей  
Сею зерна в теплый пепел,  
Чтоб взошли хлеба на поле,  
Чтобы кованые стебли  
Встали из глубокой пашни.  
Эй, рябинишна, хозяйка  
Луга, старица земная,  
Трав зеленых мастерица,  
Поле не оставь бесплодным,  
Вытяни из недр колосья!  
Укко, ты – держатель мира,  
Укко, правящий грозою,  
Судеб и времен вершитель,  
Стань отцом для малых зерен,  
Не покинь литой народец!  
Ты пошли с восхода тучу,  
Тучу с полночи густую,  
И лиловую с заката,  
И тяжелую с полудня,  
И столкни их над поляной,  
Выжми мед из туч небесных,  
Чтобы пашня всласть наполнилась,  
Чтоб хлеба заколосились!

И внял Укко, небесный властитель, песне Вяйнёмейнена: согнал тучи с четырех сторон, ударил их друг о друга

мохнатыми боками и выжал на поле янтарный дождь. Не-долго ждал Вяйнемейнен всходов – истекла неделя, и вы-шел он на поляну, где пахал и где сеял, а там уже поднялся золотой ячмень: до груди достают ему граненные колосья, высокие стебли клонятся от тяжести, на каждом стеб-ле – по три узла. Улыбнулся Вяйнемейнен, осмотрелся, увидел на березе посреди поля весеннюю кукушку и запел радостную песню:

– Ты покличь, покличь, кукушка,  
Серебро почисти в горле,  
Грудь песочную наполни,  
Оловянный клювик вздерни!  
По утрам кукуй и на ночь,  
Не ленись под солнцем полдня,  
Не молчи рассветом росным,  
Чтоб цветы в лугах пестрели,  
Лес и рощи ликовали,  
Рыба чтоб плодилась в море  
И родилось вдоволь хлеба!

Так и исполнилось все по вещим словам Вяйнемейнена.

**КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА**